
Никита Семин
Сын помещика 15

Никита Семин

Сын помещика 15

«Автор»
2026

Семин Н.

Сын помещика 15 / Н. Семин — «Автор», 2026

Роман добился того, что еще полгода казалось невозможным - о нем теперь знает весь Петербург и даже сам император. Работа под протекцией Великой княгини Елены Павловны сделала Романа весьма интересной персоной для многих влиятельных людей. Но у всего есть обратная сторона. Уже начался конфликт с известный либералом оппозиционером Чернышевским. А в тени против Романа действует британский посланник, желая настроить против юноши весь столичный свет. Вот только Роман - не дитя 19 века, о чем не знает никто из его окружения. И это его благо и проклятье одновременно.

© Семин Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 17
Глава 4 24
Глава 5 31
Глава 6 37
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Никита Семин
Сын помещика 15

Глава 1

31 декабря 1859 года

Петербург. Здание Дворянского Собрания

Елена Павловна ждала начала концерта в зале и нервничала. Внешне это почти не проявлялось: спина прямая, веер в пальцах сложен, взгляд ровно скользил по еще не заполненным до конца рядам. Но под перчаткой вспотела ладонь, и женщина время от времени сжимала веер чуть сильнее, чем следовало.

Она вспоминала последнюю встречу с Романом. Тот заявился к ней в Михайловский дворец среди вечера, без приглашения, и с порога, едва поздоровавшись, нагло потребовал зал для репетиции новой песни. Не попросил, а именно потребовал, словно ему задолжали. Елена Павловна тогда еле сдержалась, чтобы не выставить нахала вон. Но все-таки сдержалась. Она не впервой имела дело с людьми творчества — с писателями, поэтами, музыкантами — и знала эту породу. Когда юноша бросил ей, что муза не терпит ни поводка, ни меча над головой, она не приняла это за хамство или дерзость, хотя звучало именно так. За этой фразой стояла правда, и правду эту она понимала лучше многих иных обличенных властью людей.

Да, она сама поставила ему условие: написать песню к концерту, чтобы он таким образом публично и без ее подсказок показал обществу, что не является противником власти. Требование было справедливое. Но Роман вместо песни предложил выход куда более изящный — развернутую беседу на страницах журнала, где он сам, своими словами, ответил бы на все вопросы. И к сегодняшнему вечеру он уже выполнил это. Потому в тот момент Елена Павловна чувствовала легкий укол вины перед юношей. Ведь он предложил выход, а она уже запустила процесс организации концерта и дала обещание от его имени. И потому спустила ему то поведение, за которое любого другого выгнала бы без разговоров.

Теперь же, сидя в зале Дворянского собрания, она гадала, чем обернется ее снисходительность.

Песню, которую придумал Роман, она помнила. Услышав ее в первый раз на репетиции, первым порывом Великой княгини было все отменить: слишком смело, слишком дерзко, слишком похоже на вызов. Особенно с учетом того, что Роман создал песню на основе творчества широко любимого известного композитора. Тем самым будто поставив себя в один ряд с ним. Это бросалось в глаза, и все будут крутить в голове эту мысль. Дерзко, нахально… как раз в духе юноши.

Но потом она вспомнила иные его творения — те, что уже прозвучали и были приняты публикой вполне благосклонно, и мысленно махнула рукой. Пусть поет. Такое «прочтение» Глинки, несомненно, придется многим не по вкусу. Зато никто не усомнится, будто произведение написал кто-то иной. И ничего дурного в нем нет — просто слишком непривычно звучит.

Додумать она не успела.

В зал вошла императорская семья во главе с государем. Все поднялись разом, зашумели отодвигаемыми стульями и замерли, ожидая, пока высочайшие особы рассаживались. Император с императрицей заняли места в первом ряду, на чуть выдвинутых вперед стульях. По правую руку от Александра сели старшие сыновья: Николай ближе к отцу, Александр дальше. По левую руку расположилась императрица, а возле нее — младшие дети: Владимир, Алексей и Мария. Девочка пристроилась совсем рядом с матерью, сыновья чуть поодаль, уже напуская на себя взрослый вид.

За спинами императорских детей полустоя расположились гувернантки. Рядом с императором, так же полустоя, занял место его флигель-адъютант. В следующем ряду, где сидела сама Елена Павловна, устроились великие князья с семьями. По бокам разместились приглашенные дипломаты. Концерт задумывался камерным, «для своих», однако народу набилось порядочно — не меньше пары сотен человек. Зал гудел вполголоса, сдержанно, как и подобает собранию, где не принято повышать голос.

Елена Павловна опустилась на свое место, оправила юбку и перевела дыхание.

На сцену вышел Антон Рубинштейн. Он был собран и бледен ровно настолько, насколько подобает человеку, отвечающему за вечер перед лицом государя. Остановился у края эстрады, поклонился императору. Александр едва заметно кивнул.

Оркестр взял первые такты гимна. Зал поднялся снова, уже единым движением, и несколько сотен человек не запели, но замерли в той особенной тишине, какая бывает только при звуках, знакомых каждому с детства.

***

Концерт шел своим чередом, а я стоял за кулисой и слушал, как зал дышит — ровно, скучливо, почти не шевелясь.

Сначала был гимн. Все в зале встали, и даже за кулисами последовали их примеру. Я итак не сидел, но душевного порыва при прослушивании нынешнего гимна во мне не было ни на грош. На диво занудная вещь, если честно. Я вспомнил гимн России из будущего — там, конечно, тоже нет того драйва, что в моих любимых песнях, зато нет и этой тягучей, восковой заунывности, от которой клонит в сон стоя. Мелькнула мысль: а не предложить ли им тот гимн, выдав за собственный? И так же быстро погасла. Сейчас все мое внимание занимало одно — предстоящее выступление. Не до гимнов.

После гимна запели хористы капеллы. Чисто, слаженно, привычно. Зал слушал их с той благодушной рассеянностью, с какой слушают то, что уже слышали сто раз и услышат еще двести.

А вот потом публика впервые по-настоящему встрепенулась. Мусоргский и правда переделал аранжировку Глинки. Я прислушался. Оркестр под его рукой, пусть и без барабанов, повел композицию живее, в некоторых местах — прямо-таки дерзко, с сольными партиями контрабасов, которые вылезали вперед, как незваные, но очень уверенные в себе гости. Еще не рок, конечно. Но уже и не та сонная заунывность, что лилась со сцены раньше. По залу пробежал тот особый шумок: гости переглядывались, приподнимали брови, кое-кто подался вперед, словно не веря ушам. Даже государь, кажется, чуть склонил голову набок.

Я усмехнулся про себя. Мусоргский свое дело сделал — разбудил их. Теперь моя очередь не дать заснуть снова.

Правда, после него все вернулось в привычную колею. Арии, исполненные солистами капеллы, звучали вполне в духе этого времени: красиво, выверенно, безопасно. Публика снова откинулась на спинки кресел и заскучала благородно, как умеют скучать только люди, для которых вечер — это долг, а не удовольствие.

Я смотрел на все это из-за кулисы и ждал. Нервы не звенели — они гудели ровно, как натянутая до предела струна. Не страх, а то особенное, холодное возбуждение, какое бывает перед прыжком.

И вот момент настал.

На сцену вышли слуги и принялись выносить инструменты моей труппы. Барабанная установка Завадского, контрабасы, стулья, подставки. В зале снова зашевелились: что-то здесь явно выходило за пределы привычного концертного этикета. Потом появились мои музыканты, и я шагнул следом, чувствуя, как свет сотен свечей ложится на мое лицо.

Пока члены труппы занимали места за инструментами, я прошел к краю эстрады и поклонился залу — сначала государю с семьей, потом остальным. Тишина стояла плотная, почти осязаемая, и в ней особенно громко стукнула о пол ножка стула, который двигал Бродников.

— Я рад выступать перед почтенной публикой. Но прошу не пугаться, — сказал я, выпрямляясь. — И быть готовыми к тому, что сейчас будет громко.

По залу прокатился короткий смешок — нервный, неуверенный, точно люди не знали, позволено ли им смеяться над тем, что сейчас произойдет. Я дождался, пока он стихнет, развернулся к труппе и едва заметно кивнул.

Завадский взвел палочки. Тишков опустил ладонь на гриф контрабаса.

«Гангут» грянул сразу, без раскачки. Завадский ударил по барабанам так, что по залу прокатилась первая волна — не звук даже, а толчок, от которого вздрогнули ближние ряды. Контрабасы подхватили низом, густо и напористо. Артисты хора капеллы подхватили на одной ноте «о-о-о». И пусть у нас с ними не было репетиции, но тут постарался Рубенштейн. Он же им и дирижировал — когда вступить, а когда замолкнуть. А дальше и я вступил голосом, вкладывая в первые строки всю ту энергию, которую держал в себе с самого утра.



Зал ахнул. В прямом смысле: я слышал, как по рядам прокатился единый короткий выдох, будто кто-то резко распахнул окно в натопленную комнату и впустил мороз.

Те, кто был в Мраморном дворце и уже слышал эту песню, держались — они хотя бы понимали, чего ждать. Остальные сидели с лицами людей, которых окатили ледяной водой среди бела дня. Кто-то побледнел, кто-то, наоборот, прилил кровью. Какая-то дама в первом ряду прижала веер к груди, словно защищалась им от наступающего звука. Мужчина с военной выправкой, по виду — кто-то из высшего генералитета, подался вперед и так и замер, не донеся лорнета до глаз.

Я пел, и песня несла меня. Мыс Гангут, шведские фрегаты, флотилия Петра — все это звучало здесь, в зале Дворянского собрания, где еще полчаса назад пели про соловья и арию Сусанина. Это был не концерт, это была высадка. Десант чужой музыки на чужой берег.

Когда отгремел последний припев, поддержанный хором капеллы, и Завадский сшиб финальную тарелку, в зале повисла та особенная пустота, какая бывает после слишком громкого звука. Несколько секунд никто не решался ни хлопать, ни шевелиться. Потом по рядам пробежал нестройный, растерянный шум — хлопки были, но неровные, будто люди еще не решили, было ли это неприлично или все-таки великолепно.

Кто-то вполголоса, но довольно внятно, заметил:

— Предупреждение о том, что будет громко, не вполне отражает того, что мы сейчас услышали.

Рядом с ним сдержанно фыркнули, но не в осуждение — скорее от нервов.

Зато дети императора оживились. Я уловил это краем глаза, не поворачивая головы прямо к ложе: маленький Алексей завозился на стуле, дернул рукой, словно сам колотил по невидимым барабанам, и зашептал что-то брату Владимиру, тыча пальцем в мою сторону. Гувернантка склонилась к нему и принялась тихонько, вежливо успокаивать, ловя его жестикулирующие ладони, чтобы мальчик не размахивал руками и не шептался слишком возбужденно. Владимир косился на нее с видом человека, который готов утихомириться, но очень не хочет, и внимательно слушал шепот брата.

Маленькая Мария прижалась к матери, и императрица, наклонившись, гладила ее по голове, что-то тихо говоря. Девочка не плакала — она просто спряталась, как прячутся от грозы, но при этом продолжала смотреть на сцену огромными темными глазами.

Я поклонился еще раз, благодаря зал за то, что не кинули в меня подсвечником, что вызвало несколько улыбок и слегка развеяло атмосферу скованности и растерянности. А потом дал труппе знак продолжать.

«Петропавловск» пошел следом.

Теперь зал был уже не тот. После «Гангута» эта песня не вызвала того ажиотажа, что раньше. Гости понемногу адаптировались к манере исполнения, к напору, к барабанам, к самому способу подачи. Да, по-прежнему сидели непривычно прямо, но уже не как люди, застигнутые врасплох, а как те, кто решил дослушать и составить свое мнение. Камчатские сопки, Авачинская губа, одинокий русский пост, что принял бой с английской эскадрой — все это теперь ложилось им в уши ровнее, потому что первая песня уже сбила с них шелуху благочинности.

Правда, когда зазвучало «их девятьсот двадцать шесть, но с ними доблесть и честь», по залу снова прокатился гул. Некоторые переглядывались с тем особым выражением, с каким смотрят друг на друга люди, узнавшие знакомое имя. Английская эскадра у Петропавловска — это была не древняя история, это была свежая память о недавней войне, и моя песня влезла прямо в нее.

Я допел. Хлопки на этот раз были ровнее и щедрее — сдержанные, но уже без прежней растерянности.

Тогда я шагнул к самому краю эстрады и выждал, пока стихнет шум.

— А теперь — обещанный сюрприз, — сказал я, и по залу пробежал негромкий говорок. — Мое прочтение оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». Песня так и называется.

Я услышал, как в задних рядах кто-то громко и недоверчиво переспросил. Где-то скрипнуло кресло. Господин Львов, сидевший в боковом ряду, весь подался вперед, и даже на расстоянии я разглядел, как побелели его пальцы, вцепившиеся в подлокотник.

Я не стал ничего объяснять. Развернулся к труппе и поднял руку.

С первых же тактов по залу прошелся рокот барабана и громкий «голос» контрабасов — резкий, напористый, совсем не похожий на то, что пели в опере Глинки. Затем вступление закончилось, звук инструментов стал чуть тише и я запел. Завадский теперь не бил, а вел барабаны приглушенно, ровным пульсом, и от этого звука становилось не веселее, а тревожнее.

— Во времена-а… смут и людских страда-аний, — начал я, растягивая слова, — ведомо мне преда-анье, как в Костроме… жил молодо-ой Романов, избранный пра-авить да, но…

Я видел, как зал подобрался. Это был уже не шок от громкости и не любопытство к новинке — это было узнавание. Имя Романовых прозвучало здесь, в присутствии самого государя, и прозвучало не из пафосной арии, а из темной, почти языческой сказки. Люди подались вперед.

А потом я ударил голосом жестче:

— …польский коро-оль выслал уби-ийц! Что проведе-ет тропами местный крестья-янин!

И песня сорвалась с места. Контрабасы взревели, барабаны пошли внакат, а я рассказывал про ляха, что ступал в глубокий снег, не ведая беды, про ветер, что трепал волосы и заметал следы, про седого холопа, который молча вел врагов во тьму глухих лесов.

Это был Сусанин. Тот самый Иван Сусанин, чья ария звучала здесь меньше часа назад. Только теперь он не пел соловьиные прощания с зарей — он вел отряд сквозь снега, и снег этот скрипел под ногами у всего зала.

Я ловил лица. Вот тот самый генерал наконец-то поднес лорнет к глазам и так и застыл. Вот дама с веером больше не закрывалась — она сидела, приоткрыв рот, и веер повис в ее руке. Господин Львов не шевелился. Он смотрел на меня так, будто я лично, при всех, разобрал его гимн по кирпичику и сложил из них что-то чужое, незнакомое, но подозрительно живое. Антон Рубинштейн, стоящий рядом с ним, имел бесстрастное лицо. Он-то уже был знаком с моим творчеством и словно иного от меня и не ожидал.

А я пел.

— Сбились с пути-и, третьи су-утки гаснут, лошади мру-ут и вязнут… — выводил я партию от лица поляков, и в голосе этом было не раскаяние, а страх, сгущавшийся до злобы. — Укажи пу-уть поближе или умри-и же!

И снова припев, который подхватили члены моей труппы:

— И лях в глубокий снег ступал, не ведая беды-ы;

А ветер волосы трепал, и заметал следы-ы;

Сокрыв проходы тайных троп, что ведомы ему-у;

В глухих лесах седой холоп их молча вел во тьму-у.

И тут я стал выводить партию от поляков — протяжную, просящую и испуганную одновременно:

— Призна-а-айся, мы сби-и-ились!

Завадский чуть приглушил барабаны, чтобы меня было лучше слышно.

— Глупе-ец, ты сгуби-ил нас!

А затем я сбавил. Уронил голос почти до шепота, с небольшим рычащим звуком, и в наступившей полутишине, где слышен был только приглушенный пульс барабанов, прозвучало:

— Я знал путь… поверьте… — и дальше уже с повышением голоса, переходя в выкрик: — Вы шли к своей СМЕ-Е-ЕРТИ!

Зал вздрогнул. Музыка на секунду оборвалась… И снова грянул припев — последний, самый мощный. Я повторял эти строки, как заклинание, как приговор, и с каждым повтором барабаны Завадского вбивали их в зал глубже:

— И лях в глубокий снег ступал, не ведая беды…

Гости больше не сидели тихо. По рядам шло то самое движение, какое бывает, когда люди уже не слушают, а проживают. Кто-то вцепился в подлокотник, кто-то полупривстал. Старший сын государя, Николай, подался всем корпусом к сцене, забыв про этикет. Маленький Алексей замер с открытым ртом, и гувернантка уже не успокаивала его — она сама смотрела на меня.

Император сидел очень прямо. Лицо его было спокойно, но взгляд — тяжелый, неотрывный — не отпускал меня ни на секунду.

Финальные строки я допел, выдохнув:

— Вы шли-и к своей сме-ерти в лес-сах.*

Завадский сшиб последнюю тарелку. Контрабасы смолкли разом, будто обрезанные. И в зале повисла тишина — не та растерянная, что после «Гангута», а глубокая, звенящая, полная еще не прорвавшегося грома.

Я тяжело и опустошенно выдохнул. Стоял и смотрел в зал, чувствуя, как пот течет по спине под сюртуком и как гулко колотится сердце где-то у самого горла. Сегодня из зала точно никто не уйдет равнодушным!

* — все исполненные главным героем песни принадлежат группе «Радиотапок»

Глава 2

31 декабря 1859 года — 1 января 1860 года

Петербург. Здание Дворянского Собрания

Когда последняя тарелка отгремела, и труппа вслед за Романом ушла со сцены, оркестр вновь занял место и сыграл завершающий концерт гимн. На этот раз зал поднялся как-то неровно: люди все еще сидели в том, что обрушил на них юноша, и лишь потом, спохватившись, вставали один за другим. Гимн прошелестел над головами почти незамеченным — его дослушали по обязанности, а думали о другом.

После объявления окончания вечера зал зашумел разом, точно плотина наконец прорвалась. Гости потянулись к выходу, сбиваясь в пары и группки, переговариваясь вполголоса, но горячо. Слово «Винокуров» перекатывалось из ряда в ряд. Дамы обмахивались веерами, хотя в зале было не жарко; мужчины поправляли сюртуки и поглядывали друг на друга, точно сверяя, кому что позволено было почувствовать.

Елена Павловна поднялась со своего места и оправила платье. Ей хотелось выйти одной, без расспросов, но сзади уже кашлянули.

— Ну и как вам, тетушка, ваш протеже?

Она обернулась. Константин Николаевич стоял у самого прохода, склонив голову чуть набок, и улыбался той ехидной, слишком любезной улыбкой, какая у него появлялась, когда он собирался поддеть собеседника.

— Не понимаю, о чем вы, — сказала Елена Павловна ровно.

— Да как же, — он повел рукой в сторону опустевшей эстрады, где слуги уже убрали барабанную установку. — Ваш Роман так увлекся крестьянской реформой, что решил, видно, и самих крестьян в песнях воспевать. Не ровен час, увидим мужика в главной роли на столичной сцене.



Елена Павловна не сразу нашлась, что ответить. А потом до нее дошло, и она мысленно улыбнулась.

Константин был прав, хоть и подавал это как насмешку. В последней песне все и впрямь выстроилось не так, как следовало бы по канону. Безымянный холоп — седой, молчаливый, знающий тайные тропы — занял в ней место героя. Его подвиг, его самопожертвование, его темный лес стали сердцем вещи. А молодой Романов, тот самый, из-за которого, если разобраться, все и затевалось, промелькнул где-то сбоку, вскользь, словно не о нем была песня.

«Шпилька, — подумала Елена Павловна. — Мальчишка отомстил. Его принудили написать патриотическую песню — он написал. Только сделал это на свой лад».

— Вы преувеличиваете, — сказала она вслух. — В песне есть и царь, и слава Отечества.

— Есть, — согласился Константин Николаевич. — Но почему-то звучит это так, будто царь там для приличия.

Он слегка поклонился и отошел к своим, не дожидаясь ответа.

Дальше по залу уже расходились императорские дети, и в их компании кипело. Николай, старший, шел с видом человека, которому вечер удался сверх всяких ожиданий; глаза его блестели, и он то и дело оглядывался на младших, будто искал, с кем поделиться восторгом.

— Вот это да, — выдохнул он негромко. — Хочу еще.

Младший Александр, напротив, держался сухо. Он шагал рядом с братом, глядя прямо перед собой, и лицо его было непроницаемо.

— Слишком громко, — произнес он наконец. — И вызывающе. Это неприлично для такого собрания.

Совсем младшие — Владимир и Алексей — его не слушали. Они шли следом, перебивая друг друга, и все еще жили там, в грохоте барабанов.

— Прямо барабанный бой перед атакой! — выпалил Алексей, взмахивая рукой, и Владимир закивал, ловя его жест. — Я как заслышал — так и подмывало вскочить!

Мария держалась возле матери. Она уже не пряталась, но все еще сжимала в пальцах край платья и поглядывала на сцену, где остались только стулья да подставки. В ее глазах стоял не испуг, а что-то среднее между страхом и любопытством — как у человека, который заглянул в грозу и не пожалел.

Императрица, шедшая рядом с дочерью, молчала, но лицо ее было недовольно.

— Ни красоты, ни мелодичности, — произнесла она, ни к кому прямо не обращаясь. — Одна только грубость. Разве это музыка для приличного общества?

Император не ответил. Он шел чуть впереди, заложив руку за борт мундира, и смотрел вдаль, на выход, где толпились гости.

Две песни из трех он уже слышал и заранее знал, чего от них ждать. Эти пусть идут в народ — в них не было ничего дурного, а народу такое как раз по душе. Но третья не выходила у него из головы.

Патриотичная — да, спору нет. И Сусанин, и государь, и гибель врагов в лесной глуши — все на месте. Только вот вся песня выстроена вокруг крестьянина. О дворянах — ни слова. И о царе упомянуто мимоходом, совсем не так, как у Глинки.

Он подумал о Глинке и тут же сам себя одернул: у Глинки — целая опера, там есть где развернуться, поставить хоры, арии, сцены. А тут — коротенькая вещь, и пяти минут не наберется. В такую длину многого не вместишь.

И все же ощущение оставалось. Вроде бы и патриотичная, и вроде бы не о том, о чем положено.

Государь ничего не сказал ни жене, ни сыновьям. Он просто шагнул к дверям, и свита раздвинулась перед ним, а следом, как всегда, тихо и плотно, потянулись все остальные.

***

Петербург. Доходный дом, где живет Роман

Я вернулся домой, когда за окнами уже стояла плотная зимняя тьма. Сапоги отяжелели от снега, воротник сюртука успел подмерзнуть, пока я шел от кареты до дверей подъезда, но внутри было легко — так легко, как не было уже несколько дней. Эта навязанная «обязанность», ради которой пришлось на время бросить работу над реформой, наконец-то была выполнена. Песня спета, обещание перед великой княгиней выполнено, и теперь я снова принадлежал самому себе.

В доме было тихо. Новый год в этом времени никто не считал за праздник, а Рождество уже давно прошло. Тридцать первое декабря же ныне — просто вечер, просто конец месяца. Пусть некоторые его и празднуют, но без размаха, без того масштабного гуляния, которое я помню по прошлой жизни. Поэтому никто не бодрствовал с шампанским и не ждал полуночи. Все разошлись по комнатам почти сразу, едва я переступил порог. Анастасия, сонная, чмокнула меня в щеку и ушла к себе. Александра тихо кивнула и шепотом попросила сильно не шуметь — Софья уже спит. Раздевшись, я прошел в зал и устало опустился в кресло. Завтра или в ближайшие дни должны привезти документы от саратовского губернатора, а черновик к ним так и не закончен. Я знал это. Знал и то, что сейчас, в эту самую минуту, не связал бы и двух приличных строк: в голове все еще гремели барабаны Завадского, а перед глазами стоял тяжелый, неотрывный взгляд государя.

Ну и пусть. День подошел к концу, и я имел полное право лечь спать с чувством если не победы, то хотя бы честно выполненной работы. С тем и уснул.

А на следующий день все снова завертелось.

Утром, почти к завтраку, в дверь постучали. Тихон ушел открывать, а потом принес свежий номер «Современника» и записку. Я сразу понял, от кого, еще до того, как развернул бумагу: почерк у Достоевского был такой же лихорадочный, как он сам.

В записке Федор Михайлович писал коротко и тревожно. Просил не вступать в полемику с Чернышевским — он опытный полемист, боец, и если я сунусь, он пройдется по мне тяжелым сапогом, раздавит, не заметив. Я прочел записку и лишь потом взял газету.

Статья, из-за которой всполошился Достоевский и написал столь сумбурное послание, нашлась сразу. Чернышевский не стал ходить вокруг да около. Он ударил наотмашь — и, надо признать, удар вышел болезненный. Он разбирал меня по косточкам: мои песни, мою манеру, сам факт того, что я пою перед государем. Все это он выворачивал так, что я выходил у него то ли пустым, то ли продажным, то ли глупцом. Слов он не выбирал. Печатал прямо, припечатывал каждым предложением.

Я дочитал до конца и откинулся на спинку кресла. На душе было странно: злость — да, но сквозь нее пробивалось что-то почти похожее на облегчение. После такой статьи меня уже никто не назовет оппозиционером. С этой стороны я был чист: Чернышевский сам, своей рукой, выжег из меня эту метку. Хоть что-то положительное.

Тихон стоял у двери и переминался, не зная, уйти ему или остаться.

— Ответ будет, барин?

— Будет, — кивнул я. — Сначала Достоевскому.

Я тут же написал Федору Михайловичу. Поблагодарил за предупреждение и за то, что он не остался в стороне. За сопереживание — тоже. Но отмалчиваться я не собираюсь.

Потом сел и написал другое письмо — напрямую Чернышевскому. Без обиняков, без оскорблений, спокойно. Я предлагал ему открытую дискуссию. На нейтральной территории, где не будет ни государя, ни его свиты, ни поддержки самого Николая Гавриловича. Пусть выйдет и скажет мне в лицо все то, что напечатал. А я отвечу.

Записку я запечатал и отдал Тихону.

— Отнеси, — сказал я. — И не торопись. Я пока поработаю.

Парень кивнул и вышел, тихо притворив за собой дверь.

А я развернул черновик, разложил на столе замечания, которые прислал Самарин, и сел исправлять. Пора было браться за дело.

Я закрыл дверь в зал, чтобы звуки из кухни и спальни девушек не мешали работе, сел и разложил перед собой черновик, а рядом — листок с замечаниями, которые Юрий Федорович надиктовал мне во время нашей беседы. Работа предстояла не быстрая, но я был почти благодарен ей: после концерта и шума, который он поднял, сидеть за бумагами и возиться с формулировками было отдыхом.

Первым делом я вычеркнул «обязаны» и вписал «имеют право». Крестьянин имеет право купить хлеб у помещика по ставке, зафиксированной государством. Читал я теперь свою строку его глазами — и видел петлю, которую сам же не заметил. Никакого «только у него», никакой привязки к одному продавцу. Рядом приписал про норму на едока, достаточную для пропитания, и про то, что сверх нормы помещик вправе торговать уже по рыночной цене. Так закрывался второй край — спекуляция самих крестьян дешевым зерном.

Дальше пошло труднее. Я дописал условие, из-за которого помещику пришлось бы сначала накормить своих, а уж потом везти зерно на сторону: запрет торговать собранным хлебом, пока нет подписей крестьян о том, что они свою норму выкупили. Формулировка вышла гро-

моздкой, я дважды ее переписывал, но оставил — пусть шершавая, зато не рассыплется, как сказал Самарин. Тут же схематично ограничил количество «подотчетных» помещику, торгующим хлебом, крестьян. Получалось, что за каждым помещиком закрепляется определенная территория, на которой живут крестьяне, ближайшие к нему, которые и имеют право обращаться за выкупом к конкретному помещику. Также сделал пометку, что нужно проработать этот вопрос — можно ли крестьянам «поменять» помещика, у которого они закупают зерно по фиксированной ставке, и может ли сам помещик «избавиться» от такого бремени и при каких условиях. Но это позже, а пока к иным правкам перешел.

По земле под подворья я почти ничего не менял, только добавил, что каждая единица скота, выводимая на выпас, получает отметку в сельской книге, которую ведет староста и заверяет волостное правление, и уникальную метку на шкуре. Пастбище закрепил за конкретным селением, а на случай спора прописал, что границы выгона определяет уездное присутствие, а не сами крестьяне. По дровам вписал делянку: лес отводится селению под заготовку в определенном месте и в определенные сроки, вышел за пределы — плати. Сено пустил по артельному принципу, как и предлагал Юрий Федорович.

Я перечитал все заново, поправил два громоздких оборота и отложил лист. Теперь — то, чего в черновике еще не было.

Новая глава. Об артелях.

Я долго сидел, покручивая перо, и думал, с чего начать. Артели я уже упоминал, но вскользь, как одно из средств, а не как устройство. Теперь их следовало разобрать до основания: не только по какому принципу набирать людей, но и как артель живет, как делит заработанное, чтобы все не развалилось через месяц.

Начал с набора. Артель набирается из крестьян одного селения или нескольких смежных, но не с бору по сосенке: люди должны знать друг друга, иначе никакого доверия, а без доверия артель — просто толпа. Числом — чтобы хватало рук на пашню или промысел, но не настолько много, чтобы каждого тянуло спрятаться за спину соседа. Вписал и то, что наем ведется по согласию, а не по разнарядке помещика. Я понимал, что это вызовет больше всего возражений, но без доброй воли артель превратится в ту же барщину, только под другим названием.

Дальше — доли. Заработок артели, писал я, делится по паям. Больше паев тому, кто вложил больше труда или умения; меньше — подручному, ученику, тому, кто не вышел на работу без уважительной причины. Часть отходит помещику или управляющему за их работу в рамках прописанного в предыдущих главах. Долю эту я не стал назначать сам — выставил пределом, от которого можно торговаться вниз, но нельзя поднимать вверх без согласия самой артели. Самарин говорил, что закон должен давать правило, а не расписывать каждую копну. Вот и пусть доли решаются на месте, но в берегах.

Потом я остановился. Нужно было вписать то, без чего все это оставалось бы красивой бумагой — как работнику расти. И тут я вспомнил разговор с Григоровичем о школах для крестьян. Он тогда, помнится, горячился: никакая реформа не пойдет впрок, если мужик не научится хотя бы считать и читать, иначе толку с неграмотного работника никакого не будет — один убыток. Я тогда с ним согласился, а теперь его слова просились в черновик.

Я написал: работник артели вправе учиться. Сначала — грамоте и счету, это основа. А дальше — ремеслу и знанию у частного специалиста: инженера, агронома, лекаря, кого угодно, кто согласится учить за плату. И вот тут я подошел к самому важному.

Откуда взять деньги? Если каждый будет скидываться на свое учение из собственного пая — выучатся только те, у кого и так густо, остальные останутся при корыте. Значит, нужна общая складчина.

Я обмакнул перо и вывел на полях, а потом внес в текст: капитал артели.

Это был не просто мешок с медяками. Каждая артель откладывает в него долю с общего заработка — как бы ни было туго, хоть самую малую, но откладывает. Из этого капитала опла-

чивается лечение работника, если он слег: лекарства, лекарь, а то и казенная койка. Из него же платят учителям, если кто-то захотел выучиться сверх положенного. И из него же, в первую очередь, артель помогает своим в беде — по очереди, а не по знакомству и не по глотке.

Последнее я прописал отдельно, потому что знал людскую натуру: как только появляются общие деньги, сразу находится десяток страждущих и один ушлый, который их поделит. Потому — порядок очередности. Сначала тому, кто болен и не может работать. Потом тому, у кого случился падеж скота, пожар, неурожай на собственном наделе. Потом уже — учение, и то с оговоркой, что выучившийся обязан отработать в артели положенный срок, а не сбежать с полученным за общий счет знанием в город.

Перечитал и усмехнулся. Профсоюзной складчиной это, конечно, не назовешь, но пахнет ею отчетливо. Здесь это слово никто не знал, а за его подобие могли бы и по шапке дать. А вот «капитал артели» — звучало невинно, по-хозяйски, и, если повезет, пройдет.

«Все новое, — подумал я, — протаскивают под старым именем. Так и живем».

В итоге у меня получалась не просто реформа о способе получения крестьянством свободы, а некий кадавр перехода части крестьянства в рабочие. Плавный переход, который еще и должен подстегнуть индустриализацию страны.

Я писал, не замечая времени. Солнце за окном перевалило за полдень и поползло к закату, в комнате стало зябко, но я дописал главу до конца, перечел и остался доволен. Шероховатостей хватало, но скелет стоял.

В дверь постучал Тихон — звать к обеду.

За столом Настя села напротив и почти сразу придвинулась с расспросами. Как концерт, как публика, что говорили.

— Нормально, — сказал я, намазывая хлеб. — Спел, никто не кинул подсвечником, и не освистали.

Она не улыбнулась.

— А Чернышевский? Я читала, что он опять написал. Это же гадость, Роман.

— Гадость, — согласился я. — Но польза тоже есть. Теперь меня хотя бы никто не назовет оппозиционером.

Настя вздохнула и принялась ковырять вилкой. Было видно, что ее гложет что-то еще, и она не знает, как подойти.

— Пока тебя нет дома, — начала она наконец, — я совсем не знаю, чем себя занять. Александра так ловко поделила заботы по дому, что у меня теперь полдня свободны. Я сижу и не понимаю, куда себя деть.

Она подняла на меня глаза, и в них было то самое выражение, какого я не любил: не жалоба, а растерянность.

Я не знал, что ей предложить. С ходу ничего толкового в голову не шло, и я не стал выдумывать наспех.

— Давай так, — предложил я. — Сделай список. Просто напиши все, что тебе нравится: вязание, вышивка, ювелирка, прогулки, что угодно, даже если кажется пустяком. А вечером посмотрим вместе и придумаем, из чего вырастить занятие.

Она помолчала, потом кивнула, и в лице ее что-то отпустило.

— Хорошо, — сказала она. — Список так список.

Глава 3

1 января 1860 года

Петербург. Набережная Фонтанки

В обед первого января, когда Николай Гаврилович вовсю трудился над новыми статьями для журнала «Современник», ему принесли записку. Ее передал какой-то парень, по виду — слуга, и замер, дожидаясь ответа. Покосившись на него, Николай Гаврилович неторопливо развернул лист и пробежал глазами по тексту. Писал Винокуров.

Почерк у юноши оказался ровный, почти ученический, без единой кляксы, и от этого дерзость письма выходила еще заметнее. Он не оправдывался, не жаловался, не просил прекратить. Он предлагал открытый диспут — лицом к лицу, при свидетелях, на нейтральной территории. И добавлял, что готов ответить за каждую свою строку так же прямо, как Чернышевский их разбирал в своей статье.

Николай Гаврилович дочитал до подписи и фыркнул.

— Ишь ты, — сказал он негромко, не то слуге, не то самому себе. — Перчатку бросил.

Удивление было почти приятным. Он ждал, что мальчишка отступит в тень, отсидится, а там, глядишь, и вовсе притихнет. А вышло наоборот — сам лезет на открытый спор. Значит, либо совсем не понимает, с кем связался, либо до того уверен в своей правоте, что готов биться при людях. И то и другое Чернышевского устраивало.

Он придвинул чистый лист, обмакнул перо. Отвечать следовало быстро, не давая вызову остыть.

«Милостивый государь, — начал он. — Вызов ваш принимаю».

Дальше Чернышевский остановился, прикидывая условия. Диспут на нейтральной территории — очень расплывчатое заявление. В ресторане, что ли, им диспутировать? Там соберется несколько любопытных, и спор рассыплется в перебранку, а газетам достанется одна грязь. Нужна публика, которая сумеет рассудить. Нужно место, где умеют слушать, и где слово не уходит в песок.

Князь Одоевский. Его четверги — самое то.

Мужчина вписал: «Предлагаю встретиться в салоне князя Одоевского шестого числа». И, чуть подумав, добавил, уже не без яда: там соберутся люди, способные отличить поэта от переписчика.

Письмо к Винокурову он запечатал и передал дожидавшемуся ответа слуге.

— Можешь ступать, — произнес Николай Гаврилович и, когда за парнем закрылась дверь, тут же сел за второе — самому князю.

«Ваше сиятельство, — писал Чернышевский. — Один молодой сочинитель вызывает меня на публичный спор. Вам известно, что я не охотник до пустых препирательств, но в этом случае считаю отказ неуместным. Прошу вас предоставить право для диспута в вашем салоне».

Дописав, мужчина перечитал строки и остался доволен. Вышло сухо и вежливо — как раз так, как пишут человеку, у которого просят одолжения, но не хотят выглядеть просителем. Отказа Чернышевский не боялся — князь Одоевский был известен тем, что принимал у себя гостей невзирая на их политические взгляды и наоборот — поощрял к диалогу на своей территории.



К вечеру пришел ответ. Короткий, как и следовало ожидать от князя: тот не любил длинных писем.

«Извольте, — было в записке. — Салон к вашим услугам».

Чернышевский сложил записку пополам и сунул под пресс-папье, рядом с черновиком статьи, которую пока так и не отправил в набор. Его мысли уже крутились вокруг предстоящего диспута. Требовалось набросать тезисы, опираясь на которые публично втоптать наглого мальчишку в грязь, да и забыть об этом эпизоде. Зато враги не забудут и будут понимать, что и их также могут растоптать — походя, не напрягаясь, как бы между делом. Чернышевский уже растоптал юношу в газете. Теперь дело за гостиной салона. И это было даже лучше. Тогда разгром будет полный, что покажет настоящим врагам, что не стоит и пытаться вступать в полемику с мужчиной.

Николай Гаврилович усмехнулся и поднял лампу повыше.

— Посмотрим, юный поэт, — пробормотал он, — как вы теперь запоете.

***

Петербург. Доходный дом, где живет Роман

После разговора с Настей надолго дома я не задержался. Собрал листы в папку, оделся и вышел, отправившись в Михайловский дворец. Снег подморозило, и под сапогами он теперь не скрипел, а хрустел, точно битый фарфор. День стоял серый, без солнца, и ветер с Невы про-

бирался под воротник, заставляя поплотнее кутаться прохожих. Я в который раз порадовался, что еще дома оборудовал себе карету обогревом и сейчас сидел в тепле, смотря на проплывающие за окном пейзажи столицы.

До Михайловского дворца я добрался быстро. Часовой у входа оглядел меня с тем особенным равнодушием, каким солдаты оглядывают штатских, но пропустил, едва я назвался. Меня здесь уже знали и видимо имели распоряжение не задерживать, даже если приду без предупреждения.

Юрий Федорович принял меня в кабинете, где пахло табаком и бумагой. На столе громоздились папки, в углу стоял неразобранный ворох газет, а сам он сидел в расстегнутом сюртуке, без привычной строгости, и сразу протянул руку, стоило нам поздороваться.

— Давайте, — сказал он, — посмотрим, все ли исправлено или найдутся еще пробелы в вашем труде.

Я выложил листы. Он читал молча, не поднимая головы, и лишь изредка водил карандашом по краю стола, точно отбивал какой-то неслышный такт. Первые страницы прошли легко — правки, которые он сам же надиктовал, он одобрил коротким кивком. Потом дошел до новой главы и задержался.

Тут я напрягся. Про артели я писал без его подсказок, по своему разумению, и не знал, как он это примет.

Самарин дочитал до конца, перевернул лист и начал заново, уже медленнее. Карандаш его задвигался, оставляя на полях короткие пометки.

— Набор по согласию, а не по разнарядке, — произнес он, не глядя на меня. — Это хорошо. Только вы забыли прописать, что крестьянин, вступивший в артель, не теряет при этом права ее покинуть. Иначе выйдет, что артель — та же кабала, только на новый лад.

Я кивнул, запоминая.

— И вот это ваше «право учиться», — он постучал карандашом по строке. — Оставьте, но уточните: учение не снимает с работника его доли работы. Выучиться можно, но пахать за него никто не станет. Иначе к вам в артель пойдут не за знанием, а за тем, чтобы от работы отвертеться.

— Я полагал, что это очевидно, — растерялся я.

— В законах, что не запрещено, то разрешено. Нынешняя трактовка расплывчата, ее необходимо уточнить, — строго посмотрел на меня Самарин, и я вынужденно согласился с ним.

— Далее. Капитал артели, — продолжал он. — Тут вы самое главное угадали, но опять недосказали. Кто хранит деньги? Где они лежат? Если в избе у старосты — их разворуют в первую же зиму. Нужен счет и желательно с двумя подписями. Иначе ваш капитал растает быстрее, чем вы его соберете.

Он писал, не переставая говорить. Я стоял рядом и почти физически чувствовал, как черновик под его рукой обретает плотность — перестает быть моей бумагой и становится документом, за который не стыдно.

Когда он дошел до места, где я сам оставил вопрос — можно ли крестьянину «поменять» помещика, у которого он закупает зерно, Самарин остановился.

— Нюанс важный, — сказал он. — Пока оставьте открытым, но не выносите в текст. Иначе его вывернут наизнанку и через него постараются утопить всю идею. Это можно будет добавить позже, когда основное тело реформы будет принято.

Я снова кивнул. Он отложил листы, снял очки и потер переносицу.

— В целом, — сказал он, — скелет стоит. Мясо нарастим после. Документы из Саратова ожидаются завтра. Как придут — сядем и сверим вашу записку с их сведениями. Тогда и сможем подкрепить ваши тезисы реальными данными с мест.

— Завтра, — повторил я.

— Завтра, — подтвердил он. — Идите. И не теряйте листы.

Я уже взял папку и шагнул к двери, но в проеме вырос лакей — не тот, что провожал меня в кабинет, а другой, в ливрее великой княгини. Он поклонился, не поднимая глаз, и произнес так, будто ничего особенного не случилось:

— Роман Сергеевич, Ее Императорское Высочество просит вас пройти к ней в кабинет.

Я остановился. Ни о какой встрече с Еленой Павловной мы не договаривались — я приехал только к Самарину, и то по делу. А тут — кабинет, просьба, да еще с таким лицом, что сразу видно: лакей передает не пожелание, а приказ.

— Хорошо, — сказал я, чувствуя, как внутри все слегка подбирается, — веди.

Мы пошли не к выходу, а вглубь, через анфиладу, по мягким коврам, гасившим шаги. В этой части Михайловского дворца я прежде бывал лишь мельком и запомнил только холодноватую торжественность: высокие двери, золоченая лепнина, в простенках — портреты, глядящие сквозь меня куда-то дальше. Сейчас все это казалось еще тише обычного.

Лакей остановился у двери, отворил ее и отступил.

Елена Павловна стояла у окна, спиной ко мне. Она не обернулась на звук шагов, и это тоже было знаком — не столько прием, сколько ожидание, в котором меня нарочно держали в дверях. Я вошел, поклонился.

— Ваше Императорское Высочество.

Только тогда она повернулась. Лицо у нее было недовольное — не злое, не раздраженное, а именно недовольное, как у человека, который потратил на кого-то силы и теперь прикидывает, не были ли они брошены впустую. Она молчала, и пауза растягивалась, точно меня взвешивали на невидимых весах. Я стоял в нескольких шагах от нее, как того требовал этикет, и ждал. Под этим взглядом мне сделалось не по себе, хотя я и старался не показывать виду. В голове роились толпами мысли. Связан ли этот вызов с моим выступлением в здании Дворянского Собрания? Может, кому-то из влиятельных лиц оно не понравилось, и против меня начали новый слух? Или дело не в выступлении, а в чем-то ином? В моем дерзком поведении ранее, когда я потребовал зал для репетиции? Но в этом случае Елена Павловна могла «осадить» меня сразу. Или я что-то не учитываю? Как бы то ни было, пока она сама не начнет разговор, гадать бессмысленно.

Наконец Елена Павловна заговорила. Голос у нее был ровный, без гнева, и оттого каждое слово резало точнее.

— Роман Сергеевич, — произнесла она, — потрудитесь объяснить, отчего вы скрываете от меня столь важную вещь.

Вопрос вызвал у меня ступор. Я вообще не понял, о чем она, и, верно, что-то такое отразилось у меня на лице, потому что княгиня продолжила, не дожидаясь ответа:

— Компаньонка вашей невесты — не просто отлученная от рода бывшая дворянка, как вы мне ее представили. Она ваша кузина. И вам это известно лучше, чем кому бы то ни было.

Так вот оно что! Внутри у меня возникло неприятное предчувствие. Значит, кто-то раскопал. Кто? Кто успел, кому понадобилось копать так быстро и так точно? Я перебирал в уме имена — Чернышевский, может, кто-то из свиты государя, или я вообще не в ту сторону думаю? — но ничего не складывалось, мысли разбегались, как горох по полу.

Елена Павловна не дала мне времени ни собраться, ни ответить. Она заговорила снова, и теперь в голосе прорезалась сталь.

— Я помню вашу недавнюю выходку, — сказала она. — Когда вы без приглашения заявились требовать зал для репетиции и вели себя вызывающе. Я тогда вас простила. Отчасти — потому что и сама была не до конца права. Но мое снисхождение не дает вам права и дальше пренебрежительно ко мне относиться и утаивать подобные вещи.

Она сделала маленький шаг вперед, и от этого движения я невольно напрягся.

— Или, — произнесла она совсем тихо, — вы хотите отправиться в свободное плавание?

— Ваше Высочество, — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. — Личная жизнь на то и личная, чтобы не выходить за порог дома. О своей кузине я никому не рассказывал. Кто пронюхал и стал распространять эти сведения — мне неведомо. Да и какое это имеет значение? Я помню наш с вами разговор. Вы тогда посоветовали отстраниться от компаньонки. Но как я могу выгнать родную кровь? Да еще племянницей? Вы обвиняете меня в том, что я не сказал вам о наших родственных связях. Но я сделал это в попытках сохранить тайну. Чем меньше упоминается нечто тайное, тем выше шанс, что это не станет явным.

Я перевел дыхание и добавил, уже смелее, решив «идти ва-банк»:

— Если вы желаете лишить меня своего покровительства — это ваше право. Мне будет обидно, что столько сил, отданных работе над реформой, уйдет в пустоту. Но поручение, которое вы мне дали, не дает вам права требовать, чтобы я отчитывался по всякому вопросу — тем более по тому, что касается родной крови.

Елена Павловна выслушала меня не перебивая. Потом медленно, почти незаметно кивнула — и от этого кивка мне сделалось холодно. Он не означал согласия. Он означал, что все уже решено.

— Раз вы не понимаете простейших вещей, — проговорила она, — я вас более не задерживаю.

Она повернулась к окну, и теперь я видел ее снова в профиль.

— Можете не переживать о реформе, — добавила она, глядя куда-то в снег за стеклом. — Дальнейшую работу над вашей версией возьмет на себя Самарин.

Мне следовало поклониться и выйти, что я и сделал — поклонился, повернулся и пошел к двери, пытаясь осознать, что только что произошло. Ноги несли меня по коврам, мимо портретов, мимо лакеев, а в ушах стояло: «возьмет на себя Самарин».

На улицу я вышел будто оглушенный. Мороз обжег лицо, но я не чувствовал холода. Снег под ногами, желтые окна, кареты, чей-то далекий окрик — все это проходило сквозь меня, не задевая.

И только когда меня нагнал и окликнул Тихон, до меня начало доходить, что именно я натворил.

У меня уже был разговор с Еленой Павловной об Александре. Тогда она прямо велела мне ее уволить. Я еще подумал, что она ничего не знает о родстве, что это просто опаска светской дамы, и промолчал. А ведь мог сказать. Прямо тогда, в том разговоре. Признаться, что Александра — моя кузина, изгнанная из рода за мезальянс. И кто знает — может, Елена Павловна пересмотрела бы свое мнение. Или хотя бы подсказала, как выйти из положения. Но нет, я предпочел отмолчаться, понадеялся на русский авось, будто тайна сама собой рассосется.

Не рассосалась. Раскопалась и всплыла — только уже не от меня, а со стороны, чужими руками, в самый невыгодный для меня момент. И тогда я сделал вторую глупость — понадеялся, что нужен Елене Павловне достаточно сильно, чтобы она не обратила свое внимание на мое молчание об Александре. Простила его мне, а сейчас просто «погрозила пальцем» и рассказала — от кого она узнала этот факт, что теперь мне ожидать и почему стоит беречься. Но нет. Великая княгиня поступила иначе. Очевидно, что я все же перегнул палку, и она с хрустом сломалась, перечеркнув все мои планы.

Теперь у меня забрали проект. Забрали реформу, которую сами же и поручили проработать. Закрыли дверь в Михайловский дворец — ту самую дверь, за которой решалась судьба моей работы.

И виноват в этом я сам. Забыл, что сейчас не двадцать первый век, что сословия никто не отменял и что чинопочитание требуется даже среди аристократии, когда она говорит друг с другом, а не только между крестьянином и дворянином. Я повел себя с великой княгиней так, будто имею право дерзить, будто моя правота важнее ее положения. Грубо говоря, я «ссал против ветра» — и закономерно получил все обратно.

А забылся я из-за того, что однажды она меня простила. Тогда, когда я ворвался требовать зал для репетиции, Елена Павловна смирила гнев и оставила мою дерзость без последствий. Я принял это как должное. Вернее, за что-то вроде равенства, которого между нами нет и быть не могло. И посчитал, будто и далее могу вести себя дерзко.

Ошибся.

Теперь весь мой труд ушел к Самарину, который, впрочем, и так многое в моем черновике переписал по-своему. Может, оно и к лучшему. Может, без меня работа пойдет чище. Но от этой мысли легче не становилось. Вспомнилось стояние в церкви на Рождество. Как я сам тогда дал себе зарок — сделать реформу такой, чтобы жить стало лучше как можно большему количеству людей в моей стране. Чтобы у крестьян не было чувства, будто их обманули, и в то же время они получили настоящую свободу. Да и помещики не смогли бы извратить реформу в свою пользу, переиначив ее и сделав просто новой формой крепостного права. И теперь из-за моей ошибки я никак не смогу повлиять на дальнейший ход над работой по реформе. Мне выпал такой шанс, а я из-за неправильной оценки своей «стоимости» в глазах великой княгини его бездарно просрал.

Я качался в карете, когда та преодолевала ухабы и ямы, и думал над одним вопросом: как теперь быть.

И ответа у меня не было.

***

Петербург. Михайловский дворец

Когда дверь за Романом закрылась, Елена Павловна еще долго стояла у окна, глядя на заснеженный двор, по которому уходила его фигура. Она видела, как он не оглянулся, как пошел к воротам ровным, не сбитым шагом, и этот прямой, неуступчивый затылок отчего-то раздражал ее сильнее, чем все сказанные им слова.

Она отошла к креслу, села, оправила платье и прикрыла глаза.

Все, что она сделала, было правильно. Другого выхода не существовало. Нельзя было и дальше позволять мальчишке дерзить — ни ей, ни, стало быть, самому порядку, в котором она жила и который, между прочим, был прописан на бумаге, а не существовал как негласное правило. Регламент общения, чинопочитание, дистанция — все это держалось не на капризах великой княгини, а на укладе, который она не имела права расшатывать. Юноше следовало указать его место. И она указала.

Отчего же тогда внутри не отпускало чувство, будто она совершила ошибку?

Елена Павловна долго не хотела признаваться себе в причине. Потом призналась — как всегда, без скидок.

Нет, это не ошибка. Просто она ожидала другого. Она ждала страха в его глазах. Ждала, что он при ней, немедленно, пойдет на попятный, начнет просить прощения — как большинство льстецов, не желающих терять ее расположение. Тогда бы она его простила, и все вернулось бы на круги своя.

А парень оказался с норовом. Этого она не учла.

Вот и все объяснение. Ее ожидания не совпали с его поведением — и оттого саднило. Не совесть, а оскорбленное предвидение.

Придя к этой мысли, Елена Павловна снова открыла глаза. Теперь следовало думать не о том, что чувствуется, а о том, как быть дальше.

Роман был ей ценен не почтительностью, не поклонами и не родовитостью — этого добра вокруг хватало с избытком. Он был ценен мыслями. Тем, что эти мысли отличались от всего, что она слышала от прочих. Самарин, безусловно, доделает реформу — руку он набил, дело знает. Но будет ли она того вида, какого могла бы стать, останься юноша? Выйдет ли из-под его пера то же живое, угловатое, но абсолютно новое устройство, которое умел чертить Роман, или получится приглаженный, безопасный и пустой меморандум?

А ведь парень как-то упоминал и другое. Самобеглые коляски. Уже и двигатель для них готовит какой-то инженер. И что теперь? Пойдет искать иных покровителей? Или идея канет в лету, так и не рожденная? А какие еще идеи прячутся в этой упрямой голове, о которых она не успела узнать?

Елена Павловна медленно провела ладонью по подлокотнику, как будто стирая с него невидимую пыль. Слух о кузине Романа ей донесли буквально за час до прихода юноши во дворец. Кто именно его пустил — узнать не удалось. В обществе он еще не набрал силу, но это лишь дело времени. И как его парировать? Знай Елена Павловна о такой детали биографии юноши заранее, то могла бы что-то придумать. И сегодняшнего разговора у них не состоялось бы. А теперь слухом управляет не она сама, а кто-то иной. Недоброжелатель: Романа или противник реформы, над которой он работал — бог весть. И факт в том, что удар этого неизвестного уже достиг цели. Вот это понимание раздражало женщину едва ли не сильнее, чем наличие самого слуха.

— Пусть подумает над своим поведением, — проговорила она вполголоса, сама себе. — А чуть позже, если дела у него пойдут под откос, я протяну ему руку помощи. Но теперь он станет за нее держаться куда как крепче.

Слух-слухом, а поведение юноши в любом случае спускать не стоило.

Елена Павловна поднялась, подошла к столу и решительно взяла колокольчик. Впереди был день, дела, люди, которых следовало держать в узде — и она не могла позволить себе весь вечер сидеть над одним недовольным юнцом.

И все же, прежде чем позвонить, она еще раз взглянула в окно, туда, где за воротами Михайловского дворца начиналась морозная, равнодушная улица.

Романа на ней уже не было.

Глава 4

1 — 3 января 1860 года

Петербург. Доходный дом, где живет Роман

Домой я вернулся, когда за окнами уже сгущались ранние январские сумерки. Снег в свете уличных фонарей казался синим, и от этого на душе становилось еще тоскливее. Я поднялся по лестнице, не замечая ступеней, и толкнул дверь.

Настя вышла в прихожую первой. В руке у нее белел листок — кажется, она хотела что-то показать мне с порога. Но, взглянув на мое лицо, она замерла, и листок сам собой опустился вниз.

— Что случилось? — спросила она вместо того, что собиралась сказать.

Я махнул рукой, стягивая перчатки.

— Потом.

— Нет, — мотнула Настя головой, и голос у нее дрогнул. — Не потом.

Я поднял на нее взгляд. Она стояла прямо, прижав листок к юбке, и смотрела на меня решительно, хотя подбородок у нее заметно подрагивал.

— Я уже несколько дней вижу тебя то приподнятым, то потухшим, — заговорила она быстро, точно боялась, что не успеет высказать все до конца. — Ты то сияешь, то ходишь как в воду опущенный. А мне говоришь только в общих чертах и только о хорошем. Я вся на нервах, Роман. Я не могу больше гадать, что с тобой. Скажи мне как есть.

Она перевела дыхание. Глаза у нее блестели, но слез пока не было.

Я уже открыл рот, чтобы ответить, как за ее спиной, в глубине коридора, чуть скрипнула дверь. Из комнаты выглянула Александра. Она держала Софью за спиной, прикрывая ее плечом, и, кажется, собиралась тут же исчезнуть. Но я успел перехватить ее взгляд. Александра поспешно отступила внутрь и закрыла дверь.

И тут меня будто обожгло. Кто-то рассказал великой княгине про мое родство с Александрой. Откуда? Вдруг она сама где-нибудь проговорилась — не со зла, просто неосторожно, не подумав, кому и что можно говорить. Я и сам хорош, но теперь эта мысль вцепилась в меня и не отпускала.

— Я все объясню, — сказал я Насте, уже глядя мимо нее, в сторону комнаты Александры. — Только сначала поговорю с кузиной.

— Я пойду с тобой, — тотчас заявила Настя.

— Не надо.

— Пойду, — упрямо повторила она, и в голосе ее не осталось ни просьбы, ни слезы — одна решимость.

Я устало махнул рукой и пошел по коридору. За спиной слышались ее легкие шаги. Она не отставала.

Александра пыталась уложить дочку спать. Но та недовольно пихалась, упрашивая маму рассказать сказку, или послушать, что расскажет «дядя Роман». Когда дверь скрипнула, Александра обернулась и настороженно посмотрела на меня, словно ожидая удара и прижав инстинктивно Софью к себе. Девочка замолчала и смотрела на меня снизу вверх большими круглыми глазами.

— Скажи мне честно, — начал я без долгих предисловий, — ты не пересекалась с кем-нибудь, кому могла рассказать, что живешь у кузена?

Александра отрицательно мотнула головой. Резко, без колебаний и даже с небольшим удивлением во взгляде.

— Нет. Я никому не говорила. Ни единой душе.

Она помолчала, глядя мне в лицо, и вдруг тихо спросила:

— Неужели это стало известно великой княгине? И она в гневе?

— Да, — сказал я устало. — Известно. И она в гневе. Только не из-за того, что ты отлучена от рода. А из-за того, что я сам ей об этом не рассказал.

Александра прижала испуганно ладонь к губам. Софья дернула ее за юбку, но она, кажется, даже не заметила.

Я выдохнул и обвел взглядом их обеих — кузину с девочкой на руках, и Настю, которая стояла рядом, напряженная, вытянувшаяся в струну.

— Моя работа на Елену Павловну закончена, — сказал я. — Так что в ближайшие дни я совершенно свободен.

Настя перевела дыхание, но ничего не сказала.

— Завтра воскресенье, — продолжил я, стараясь, чтобы голос звучал ровнее. — Предлагаю сходить в бани. В прошлое воскресенье мы там так и не были.

Настя чуть склонила голову к плечу, и в уголках ее губ на мгновение мелькнуло подобие улыбки.

— Только в разные залы, — сказала она шутливо.

Я спокойно кивнул.

— Разумеется.

Поздним вечером, почти ночью, когда все уже разошлись по комнатам, в мою дверь тихо поскребся Тихон. Вошел он как-то боком, мялся у порога, теребил в руках шапку и не поднимал глаз.

— Что-то случилось? — спросил я, не оборачиваясь от стола, на который смотрел. Без всякого смысла, просто пытаясь собрать мысли в кучу. Внутри была пустота. Еще утром я работал за столом над реформой, а сейчас он будто осиротел.

— Барин, — начал он робко, — я совсем запамятовал… А вы мне не напоминали.

Я повернулся.

— О чем ты?

Тихон вздохнул, точно собираясь с духом, и полез за пазуху. Вытащил сложенный вчетверо лист, протянул мне.

— Ответ господина Чернышевского, — сказал он. — Я его дождался, а потом за беготней и не передал.

Я взял лист, развернул. Писал Чернышевский коротко и сухо: вызов принимает, предлагает встретиться в салоне князя Одоевского шестого числа. И в конце — про людей, способных отличить поэта от переписчика. Я хмыкнул, но внутри что-то медленно, тяжело повернулось. Значит, диспут все-таки состоится. Шестого числа. У Одоевского.

— Пятого числа напомнишь еще раз, — сказал я, складывая лист.

Тихон торопливо закивал и исчез за дверью, а я еще долго сидел над письмом, глядя на ровные, уверенные строки чужой руки. Шестого числа. Что ж, по крайней мере, теперь я знаю, к чему готовиться.

На следующий день, после воскресной службы, я сдержал слово. День выдался мягкий, без ветра, и в баню мы отправились втроем, а вернее — вчетвером: я, Настя, Александра и Софья, которую кузина держала за руку. Снег похрустывал под ногами, изо рта валил пар, и от этого обычного, будничного пути на душе немного отпускало.

У входа в Туляковские бани Настя взяла Александру под руку, и они свернули к женскому отделению. Софья семенила между ними, оглядываясь по сторонам. Я проводил их взглядом и шагнул в свою сторону.

В мужском отделении было жарко, влажно и шумно. Пахло распаренным деревом, вениками и нагретым камнем. Я уже скинул одежду и шел к полку, когда меня окликнули по имени.

— Роман Сергеевич!



Я обернулся на звук. На лавке сидел Модест Мусоргский — раскрасневшийся, с полотенцем на шее. Из-за растекшегося пара, укутавшего помещение словно туман, я его не сразу и приметил. Он глядел на меня с тем особым выражением, какое бывает у человека, который хочет держать обиду, но у него не очень получается.

— Здравствуйте, Модест Петрович, — сказал я, садясь рядом.

Он поджал губы.

— А я уж думал, вы меня теперь и в банях не будете замечать, — буркнул он.

Я промолчал. Он помолчал тоже, шумно втянул пар, вытер лицо. Потом не выдержал первым.

— Знаешь, — резко перешел он на «ты», — а я ведь все думаю про тот новогодний концерт, — заговорил он оживленно. — И что бы мне ни говорили, а это было нечто. Ты не оставил равнодушным никого, Роман. Одни хвалят, другие ругают. А это и есть живая музыка — та, что цепляет каждого. Не проходит мимо.

Он подался вперед, глаза у него заблестели.

— Именно такой и должна быть русская музыка! Свое направление, свое лицо, а не перепев чужих образцов.

Я усмехнулся и покачал головой. Опять он за свое! Упертый парень.

— Не ищи во мне композитора, Модест.

— Как же не искать? — всплеснул он руками. — У тебя дар! Новая композиция — что? Есть мысли?

— Нет, — отрезал я раздраженно. — Музыка для меня лишь отдушина. И если ты продолжишь упорствовать…

Мусоргский тут же вскинул ладони, словно сдаваясь.

— Все, все, молчу, — сказал он примирительно. — Не буду.

Он отвернулся, но я видел, что скулы у него все еще подрагивают — то ли от жара, то ли от невысказанного. Впрочем, больше он упрашивать меня не стал, переключившись на рассказ о том, как идут дела в их кружке у Балакирева.

Из бани мы вышли вместе, разогретые, с мокрыми волосами, щурясь от яркого дневного света. Снег слепил, и я на миг остановился у дверей, привыкая.

И тут из соседних дверей вышли наши. Первой показалась Настя — румяная, с влажными, убранными под платок волосами. За ней Александра вела Софью. Обе разрумянились, у Александры на скулах выступил легкий румянец, отчего лицо ее, обычно строгое и бледное, вдруг сделалось мягче.

Модест замер рядом со мной. Настю он уже видел и лишь скользнул по ней глазами. А вот Александра была ему внове. Я перехватил его взгляд: он смотрел на нее дольше, чем полагается при случайной встрече, и в глазах у него мелькнуло то сдержанное, оценивающее любопытство, какое бывает у человека, встретившего что-то неожиданное.

Он поклонился. Вежливо, но не без той чуть театральной галантности, какая всегда проскальзывала в его манерах.

— Роман Сергеевич, не представишь меня своим спутницам?

Я представил. Мусоргский церемонно приложился к ручке Насти, потом — к ручке Александры. Задержал ее пальцы на долю секунды дольше, чем следовало по этикету.

— Сударыня, — проговорил он, глядя Александре прямо в лицо, — если вдруг соберетесь в гости к людям искусства, милости прошу в наш кружок. У нас бывает и музыка, и разговоры. Скучать вам не придется.

Александра чуть отстранилась, но ответила спокойно и с достоинством:

— Благодарю за приглашение.

И все. Больше она ничего не добавила, и от этой холодноватой отстраненности Мусоргский, кажется, только сильнее заинтересовался. Он еще раз поклонился, отступил и, бросив на нее короткий прощальный взгляд, пошел своей дорогой, не оглядываясь.

Я же перевел взгляд на девушек.

— Ну что, домой?

— А может, погуляем? — предложила Настя. — Все-таки воскресенье. Успеем еще дома насидеться.

Александра поддерживающе кивнула, поправляя на Софье капор. Девочка тотчас потянула ее за руку, заглядывая снизу вверх.

— Я тоже «за», — сказала кузина. — День такой, что домой пока не хочется.

Я оглядел залитую солнцем набережную, легкий пар над Невой, темные фигуры прохожих на белом снегу.

— Согласен, давно мы вот так просто не гуляли, — выдохнул я. — Пойдем.

Шли мы не спеша вдоль гранитного парапета. Снег под ногами скрипел ровно и успокаивающе. Настя взяла меня под руку, с другой стороны шагала Александра, а Софья то и дело

вырывалась вперед, к парапету, чтобы взглянуть на лед. Кузина каждый раз ловила ее за плечо и возвращала на место, а девочка смеялась и снова убегала.

Навстречу попадались редкие пары, извозчичьи сани, мальчишка с корзиной пирожков. Пахло морозом, дымом и откуда-то издалека — свежим хлебом. Я шел и ловил себя на том, что впервые за последние дни не думаю ни о Чернышевском, ни о великой княгине, ни о шестом числе. Просто иду, и рядом идут те, кто дорог, и больше ничего не нужно. Тревоги на короткое время отступили, и на душе стало легче. Словно в бане я смыл всю ту грязь, что невольно налипла на меня в последние дни.

По пути зашли в кондитерскую. Внутри было тепло, сладко пахло ванилью и корицей. Софья прилипла к витрине, разглядывая горы засахаренных фруктов и пирожных. Александра наклонилась к ней и что-то тихо объясняла, а Настя тем временем выбирала у прилавка, задумчиво постукивая пальцем по губе.

— Возьмем медовых пряников и, пожалуй, вот этих, — сказала она приказчику, указывая на пирожные с кремом.

Домой возвращались уже в сумерках. Софья сонно привалилась к Александре, в кулачке у нее был зажат надкушенный пряник. Я нес сверток с покупками. Настя шла рядом, разрумянившаяся, и о чем-то улыбалась своим мыслям.

В квартире, едва развесив верхнюю одежду и отправив Софью умываться, Настя вдруг вспомнила.

— Постой, — сказала она, оборачиваясь ко мне. — У меня же список. Мы вчера так его и не обсудили.

Я не сразу понял ее слова.

— Какой список?

— Да тот самый, который ты мне предлагал написать. Чтобы определиться, чем бы я хотела заниматься в свободное время.

Она подошла к столу, выдвинула ящик и достала сложенный лист. Развернула его, пробежала глазами, точно проверяя, все ли на месте.

— Я тогда честно все написала, — сказала она, поднимая на меня взгляд. — Мне нравится шить новые платья, петь, танцевать и выращивать цветы.

Она замолчала, будто ждала, что я ее за что-то буду осуждать. Но у меня ничего подобного и в мыслях не было. Вместо этого я лихорадочно думал, как можно обратить ее увлечения ей же на пользу.

— Цветы, — медленно повторил я. — А если не просто выращивать, а составить из них что-то цельное? Для квартиры.

Настя нахмурилась, не понимая.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну смотри, — я подошел ближе. — Сейчас у нас цветов дома почти нет, а те что имеются — стоят без всякого порядка. Горшок там, горшок здесь. А если расставить их так, чтобы вместе они составляли красивую картину? По цвету, по высоте, по форме листьев. Чтобы у окна получился, скажем, зеленый угол, а у стены — свое, иное сочетание. Чтобы в комнате стало нарядно не только от занавесок, но и от живой зелени.

Я пытался, как мог, объяснить ей смысл работы «дизайнера интерьеров». И, кажется, у меня получилось.

Настя слушала, чуть склонив голову. Глаза у нее заблестели.

— Постой, — медленно проговорила она. — Ты предлагаешь мне попробовать себя в роли художника-оформителя? Только с живыми цветами?

Я кивнул.

— Да. Именно так, — облегченно выдохнул я, радуясь, что в нынешнее время есть хоть какая-то близкая по смыслу профессия.

Она помолчала, переводя взгляд с меня на лист, потом снова на меня. И вдруг улыбнулась — широко, по-настоящему.

— Мне нравится, — сказала она. — Очень. Я попробую.

Она свернула список и прижала его к груди, точно он внезапно сделался ей еще дороже.

— Тогда завтра и начнем, — сказал я. — Посмотрим, где какие горшки можно расставить, а там, глядишь, и новые цветы подберем.

Настя закивала, и я видел, что она уже мысленно переставляет все в квартире, прикидывает, что куда встанет. У моей невесты наконец-то появилось настоящее ДЕЛО, как у ее сестры. От чего и взгляд поменялся — стал более уверенным.

На следующее утро Настя взялась за дело с таким рвением, какого я давно за ней не замечал. Еще за завтраком она разложила на столе лист и принялась чертить, что-то прикидывая карандашом: где у нас окна, где простенки, куда падает свет по утрам, а куда — к вечеру. Я сидел напротив, пил чай и поглядывал на нее с легким удивлением.

— Боюсь, с цветами в январе выйдет не так просто, — осторожно заметил я.

Настя подняла на меня глаза.

— Почему?

— Все-таки на дворе не лето. Зима.

Она улыбнулась и беспечно махнула рукой.

— Ты просто не знаешь, сколько в Петербурге оранжерей. Я вчера у Александры порасспросила. В столице зимой цветов не меньше, чем летом, только они все под стеклом. И не одни императорские теплицы. Садовых заведений, что торгуют цветами, в городе полно. Розы, камелии, розалии, лилии, орхидеи — чего только нет. Были бы деньги.

Она вздохнула на этом слове, и я понял, что дальше последует главный вопрос.

С деньгами у нас выходило не то чтобы худо, но и не разгуляешься. Отчисления за патент капали исправно, раз в неделю, и ручеек этот был стабильный. Но до больших рек ему было далеко. На безбедную жизнь в столице хватало: аренда квартиры, еда, керосин для отопления кареты, мелкие расходы — мне и дамам. А вот чтобы развернуться «на широкую ногу» и заставить подоконники цветами с пола до потолка, уже выходило впритык. За розы в январе просили столько, что иной букет стоил как обед на четверых.

Я почесал подбородок.

— Начнем с малого. Купим пару горшков с розами. А дальше — смотри сама.

Настя кивнула, но по глазам я видел: ей хочется большего, и она прикидывает, где бы ужаться, чтобы выкроить лишний рубль.

— И вот еще что, — сказал я, отставляя чашку. — Ты в списке писала, что любишь не только цветы, но и шить. А если эти два занятия соединить?

Девушка озадаченно нахмурилась.

— Как это?

— Искусственные цветы. Сшить их из ткани. Лепестки, бутоны, листья — все руками. Это и шитье, и цветы разом. Только выращивать их будешь не в горшке, а на рабочем столе.

Настя замерла. Потом медленно улыбнулась.

— А ведь и правда, — проговорила она. — Я никогда о таком не думала. Но это же целое искусство. В Европе оно развито, а у нас — так… Справлюсь ли?

— А ты попробуй. Ты у нас мастерица.

Она зарделась и тут же загорелась новой мыслью.

— Тогда сегодня же начну. Ткань у меня есть, нитки, надо придумать что-то для стеблей, чтобы не падали. Сделаю пробный цветок и покажу тебе.

— Договорились, — кивнул я.

Она поднялась из-за стола, забрала свои листы и ушла в комнату, на ходу уже что-то высчитывая. А я остался один.

За окном медленно разгорался серый январский день. До шестого числа оставалось совсем немного. Диспут с Чернышевским больше нельзя было откладывать на потом. Слова его из записки — про людей, способных отличить поэта от переписчика — сидели во мне занозой, и я понимал: идти туда неподготовленным нельзя. Чернышевский не из тех, кто щадит. Раз он принял вызов, значит, уже набросал тезисы и будет бить наверняка, по самым слабым местам.

Я сел за стол и придвинул чистые листы, обмакнул перо и задумался. О чем спорить? О чем писать? Чернышевский разбирал мои строки по косточкам, и теперь следовало понять: на чем он меня ловил, где в моих же словах оставлял прорехи.

Первым делом — искусство и польза. Думаю, он скажет, что стихи, не несущие общественной пользы — пустое баловство. Что поэт должен служить делу, а не забавлять. Возразить тут есть чем: искусство не только поучает, оно будит чувство, а через чувство — мысль. Но сказать это мало. Нужны примеры, чтобы не скатиться в общие слова.

Второе — народность. Чернышевский непременно вернет разговор к тому, что настоящая литература должна говорить с народом и о народе. Не зря же он позиционирует себя, как либерал, радеющий за людей. А я что — дворянский сочинитель, поющий про флот да про битвы? Значит, надо заранее решить, что я отвечу. Что флот — это и есть народ: те же крестьяне, одетые в матросские робы. Что в моих песнях поют и гибнут не только офицеры.

Я записывал, зачеркивал, снова записывал. Краем уха слышал, как в соседней комнате Настя чем-то шуршит, как звякают ножницы. Ей сейчас было легко, и от этого и мне дышалось свободнее.

Шестого числа у Одоевского соберутся люди, которые умеют слушать. И, в отличие от меня, Чернышевский придет туда с готовыми, обкатанными доводами. А значит, и я должен прийти не с ворохом обид, а с ясной головой.

Глава 5

3 января 1860 года

Царицын. Дом Михайловых

Кулакова впустили после короткого доклада. О его визите было известно заранее, поэтому в гостиной мужчину держать не стали. Александр Иванович вошел в кабинет вальяжно, с выражением человека, чувствующего себя хозяином положения. Он огладил бороду, увидев Бориса Романовича, и без разрешения уселся в кресло.

— Здравствуй, Борис Романович, — проговорил Кулаков, широко улыбаясь, и улыбка эта была сытой, уверенной, будто вся беседа уже выиграна им заранее.

Михайлов стоял у окна, заложив руки за спину. За стеклом синели ранние сумерки, по карнизу лениво кружилась поземка. Он обернулся не сразу — сперва дал понять купцу, насколько ему здесь не рады.

— Здравствуй, Александр Иванович. Вижу, ты уже сел… — протянул мужчина, скривив брезгливо губы.

На это купец ничего не ответил, перейдя сразу к делу, ради которого явился.

— Я, собственно, за тем же, о чем мы с тобой уже толковали, — начал он, понизив голос, точно они и впрямь состояли в заговоре. — Времени прошло достаточно. Ты подумал над моим предложением? Надеюсь, теперь оно видится тебе иначе.

Михайлов медленно подошел к столу и опустился в кресло напротив. Под рукой у него лежал раскрытый лист, исписанный чужой, суховатой рукой. Он не стал его прятать.

— И в чем же, по-твоему, оно должно видеться мне иначе? — спросил он ровно.

Кулаков развел руками, и перстень на его пальце блеснул в свете лампы.

— А в том, что я тебе не враг, Борис Романович. Мы люди деловые. Предложение-то выгодное для нас обоих. И Арина твоя, глядишь, заживет лучше прежнего. Одно твое слово — и дело сладится. Ну а если решишь отказаться… — с угрозой протянул купец, — то о беспечном будущем своей дочери можешь забыть. Как и о будущем своего рода.

Кулаков подался вперед, и в голосе его прорезалась та самая самодовольная нота, которую Михайлов слышал уже в прошлый раз.

— Ну так что, готов ты к сотрудничеству?

Михайлов помолчал. Потом взял лист, поднес к лампе, будто желая лучше видеть строки.

— «В позапрошлом месяце барка „Каспийский купец“ вышла из Астрахани с грузом, в коносаменте не значащимся, — прочел он медленно и раздельно. — Двенадцать тюков бухарской ткани, не отмеченных в таможенных книгах. По весне, по высокой воде, судно „Салтан“ должно принять к перевозке чай, закупленный в обход гильдейской пошлины…»

Кулаков замер. Улыбка его погасла, не успев смениться другим выражением, он так и сидел с приоткрытым ртом, точно ему на грудь упало бревно.

— Это что? — выдавил он, быстро попытавшись исправиться и «вернуть» лицу прежнее выражение. Но уж слишком неожиданным оказались для него зачитанные строки.

Михайлов отложил лист, но не перевернул, а оставил исписанной стороной вверх, на виду.

— Это, Александр Иванович, бумага, — сказал он спокойно. — В ней кратко изложено, на каких судах и какую контрабанду ты уже возишь. Барка, судно, маршруты, тюки. Хочешь — зачитаю дальше, там про шведскую соль и про то, как ты ее переписываешь на чужих приказчиков.

Кулаков сузил глаза. Не такого разговора он ожидал, когда шел сюда.

— Серьезное обвинение, — напряженно сказал он. — Вот только с чего ты взял, что все сказанное здесь — правда? И что я к этому имею отношение?

— Ты, Александр Иванович, дурачком-то не прикидывайся, — процедил Михайлов. — Ты же сам мне предложил контрабандой заняться. Да так уверенно об этом заявлял, что я понял — ты уже этим промышляешь. Вот и доказательства нашлись.

— Откуда?.. — прошипел рассерженной змеей Кулаков.

— Откуда — не твоя забота, — оборвал его Михайлов. — Скажу лишь, что бумага эта верная и ей цена в жандармском управлении будет высока.

Мужчина встал. Кулаков следил за ним взглядом снизу вверх, и прежней вальяжности в нем не осталось.

— Теперь слушай мой встречный уговор, — произнес Михайлов, опираясь ладонями о стол. — Ты забываешь об Арине и о том требовании, с которым ко мне явился. Забываешь навсегда. И тогда бумага эта останется у меня, в ящике.

Он выдержал паузу, глядя купцу прямо в глаза.

— Или же я отдаю ее жандармам. И тогда ты отправишься не в Астрахань за товаром, а прямиком в тюрьму. А что до твоих «переживаний» о репутации Арины — да, в уезде пошумят. Что ж. Я найду способ отправить ее за границу, подальше от этих сплетен. Там она выйдет замуж, и никто не вспомнит. А вот ты, Александр Иванович, из острога уже ничего не поправишь.

Кулаков дышал тяжело, с присвистом. Пальцы его вцепились в подлокотники кресла, перстень впился в дерево.

— Ты не рискнешь. Арину может и отправишь, а вот сам лишишься всего! И из глав собрания тебя выгонят, и дел иметь с тобой никто не будет, так на что потом твоя дочка за границей жить будет? — купец приводил доводы, но уже видел по глазам Бориса Романовича — тот не уступит.

— Проверь, — просто ответил Михайлов, подтверждая страшную догадку Кулакова.

Долго в кабинете стояла тишина, только поскрипывали половицы от жара печи да гудел ветер в оконных рамах. Потом Александр Иванович обмяк. Он опустил голову, провел ладонью по лицу, будто стирая с него пот.

— Хорошо, — зло выдохнул он. — Будь по-твоему.

Он поднялся тяжело, недобро зыркнул на Михайлова и поплелся к двери. Движения его сделались дерганными, словно он раздумывал — бежать со всех ног, или остаться и попытаться что-то исправить. Нога то резко поднималась, то замирала на полпути, чтобы после тяжело опуститься.

— Прощай, Борис Романович, — сказал он, уже стоя у порога и полностью взяв себя в руки.

— Прощай, Александр Иванович.

Когда шаги купца стихли на лестнице, в кабинете шевельнулась тяжелая штора у окна. Полотно дрогнуло и отодвинулось в сторону. Из-за нее вышла Арина — бледная, с сухими, широко открытыми глазами. Она стояла, прижав руки к груди, и не могла произнести ни слова.



— Ты все слышала, — сказал Михайлов, не оборачиваясь. — Теперь видишь, ради чего этот купец с тобой встречался?

Арина молчала. Губы ее дрожали, но она крепилась, вцепившись ногтями в ворот платья.

— Он приходил не ради тебя, — продолжал отец все так же ровно. — А ради выгоды. И при первом же нажиме отступился, отдал тебя без боя.

Борис Романович наконец повернулся к дочери. Взгляд у него был усталый и жесткий.

— Я требую от тебя остепениться. Раз и навсегда. Иначе накличешь беду на наш род, и я уже не смогу этого исправить. С этого момента — забудь про все встречи с этим проходимцем. И вообще — из дома ни ногой.

Арина постояла еще мгновение, глядя на отца, потом резко развернулась и вышла. В коридоре шаги ее ускорились, почти перешли в бег. Хлопнула дверь ее комнаты.

Михайлов остался один. Он опустился в кресло, взял со стола исписанный лист, сложил его вдвое, вчетверо и убрал в ящик. Если Кулаков не угомонится, то придется выполнить свою угрозу и вот тогда эта бумага станет на вес золота.

***

Петербург. Михайловский дворец

Юрий Федорович Самарин сидел за длинным столом в отведенной ему комнате и правил бумаги Романа. Перед ним лежали две стопки: слева — присланные из Саратова материалы,

которые губернатор велел доставить спешным курьером, справа — черновик юноши с пометками на полях. Самарин сверял одно с другим, вписывал цифры, вымарывал целые абзацы и вносил новые.

Работа спорилась, но без радости. Он уже второй час корпел над главой, которую прежде спокойно отдал бы Роману, и все чаще ловил себя на досаде. И зачем юноша умудрился поругаться с великой княгиней? Ведь как все ладно шло. Роман приносил свежие, еще не обкатанные соображения, а он, Самарин, смотрел на них взглядом незамыленным и сразу видел, где в построении зияет прореха. Так они и шли: черновая, нудная, кропотливая работа доставалась юноше, а лавры потом пожинали бы вместе. Теперь же все приходилось делать самому.

Самарин отложил перо и потер переносицу. Глаза устали, в висках начинало гудеть. Глупо, но чем дальше он продвигался, тем отчетливее понимал: одному здесь не управиться. Не потому, что не по силам — по силам. А потому, что в одиночку легче всего допустить глупую ошибку и не сразу ее заметить. Ошибку, за которую спросят с него одного. А спрос после отстранения Романа с него разом увеличился.

Он снова взял перо, но писать не стал — повертел в пальцах и положил на подставку. Мысли свернули в сторону, и удержать их не получалось.

А ведь кураторство ему понравилось. Он сам не ожидал. Сначала взялся за Романа скорее по обязанности, чем по охоте. А потом вошел во вкус: юноша мыслил дерзко, иногда слишком, но именно это и было ценно. Его свежие идеи выглядели привлекательнее всех прошлых вариантов реформы, которые Самарину приходилось читать за последние месяцы. Старые проекты он знал наизусть, со всеми их осторожными оговорками и водянистыми формулировками. А тут — живой текст, который можно было бы «вылизать» до блеска, прежде чем предъявлять государственному совету.

Самарин невольно вспомнил шестую главу, которую Роман принес перед самой размолвкой с великой княгиней. Он успел тогда пробежать ее глазами и сразу понял: это лучшее, что выходило из-под пера юноши. В ней чувствовалась рука человека, который не боится думать, а не переписывать чужие соображения. И вот теперь эта глава лежит без движения, а работа стоит.

Мужчина откинулся на спинку стула и посмотрел в окно. За стеклом шел снег — редкий, ленивый, точно уставший. Серый петербургский день тянулся к вечеру.

Нет, так дело не пойдет. Надо идти к Елене Павловне.

Мысль эта зрела в нем с самого утра, но теперь оформилась окончательно. Разумеется, он не станет давить и ничего не будет просить напрямую. Нужно подойти осторожно, разведать, готова ли великая княгиня простить юношу, если тот извинится. Самарин уже и аргументы прикинул, выстроил их, как строят доводы перед важным разговором.

Первое — свежие идеи Романа. Та же шестая глава, которая лежит без движения. Второе — взгляд двух людей, посвященных в реформу, лучше одного. Один пишет, другой смотрит свежим глазом и видит слабости, которые сам пишущий уже не замечает. Вдвоем они сумели бы вылизать проект так, как в одиночку не выйдет. Третье — и это он мог бы сказать великой княгине с полной откровенностью — разгрузка его самого. От работы над первоначальным вариантом реформы Самарина ведь никто не отстранял. Он как вез ее на себе, так и везет. А теперь на нем еще и правки, и сведение материалов, и черновая подготовка. Одному ему всего не вытянуть без риска напортачить.

Самарин усмехнулся про себя. Аргументы, что и говорить, отчасти корыстные. Но разве это плохо? Великая княгиня — женщина умная, она поймет: дело не в том, чтобы снять с него часть груза, а в том, чтобы довести проект до ума. А ради этого Романа стоит вернуть.

Юрий Федорович собрал бумаги в аккуратную стопку, придавил пресс-папье, чтобы не разлетелись, поднялся из-за стола. Одернув сюртук, прошелся ладонью по волосам. Перед разговором с Еленой Павловной следовало выглядеть собранным.

— Юрий Федорович, вам подать чего? Чай или желаете перекусить? — спросил в дверях слуга.

— После, — коротко ответил Самарин. — Мне надобно видеть ее высочество.

Он вышел в коридор. Шаги его гулко отдавались под высокими сводами. По пути Самарин еще раз перебрал в уме приготовленные доводы, выровнял их, отбросил лишнее. Свежие идеи. Второй взгляд. Разгрузка. И главное — вина юноши, которую тот, быть может, уже и сам готов загладить извинением.

Осталось лишь выяснить, готова ли Елена Павловна это извинение принять.

***

Петербург. Доходный дом, где живет Роман

Составив тезисы к диспуту с Чернышевским, я отложил перо и откинулся на спинку стула. Листы передо мной покрывали ровные строчки с пометками на полях — искусство и польза, народность, флот как тот же народ в матросских робах. Я перечитал главное, поправил кое-где слово, другое вычеркнул. Вроде бы теперь у меня было с чем идти в салон к князю Одоевскому.

Но едва работа закончилась, в комнате снова повисла пустота. За окном смеркалось, по стеклу ползла снежная крупа. Настя возилась в соседней комнате, у нее что-то звякало и шуршало — верно, кроила лепестки для своих цветов. Мне сидеть на месте не хотелось.

Я поднялся, прошелся по комнате, размял затекшие плечи. Чем занять себя до вечера? Можно было бы засесть за письма — Дмитрий Борисович ждал от меня распоряжений по патентным делам, да и отцу давно пора еще хоть весточку написать. Но все это была бумажная работа, а мне хотелось дела живого, такого, где требуется движение, а не сидеть над желтоватыми страницами, стискивая в руке перо. От него итак у меня уже пальцы болели.

И тут я вспомнил: уже две недели прошло с моей последней встречи с инженерами. А ведь я сам дал им задания и обещал наведаться. Сначала — к Костовичу, взглянуть, как продвигается сборка нового двигателя. Потом — к Шпаковскому, проверить, провел ли он те опыты, о которых мы договаривались: передача звука через провода. Стоило об этом подумать, как в мыслях поселился зуд — хотелось узнать, сдвинулось ли хоть что-то с мертвой точки и сколько еще работы им предстоит.

Я накинул сюртук и крикнул Тихона. Тот явился быстро, запыхавшийся, с тряпкой в руке — видно, оторвал его от какой-то возни.

— Одевайся, — сказал я. — Едем.

— Куда, барин?

— Сначала к Костовичу, а потом видно будет.

Тихон закивал и скрылся. Через четверть часа мы уже спускались по лестнице. В подъезде пахло сырым камнем и капустой из чьей-то кухни. На улице я поежился: ветер дул с Невы, колкий, пробирал до костей. Быстро запрыгнув в еще до конца не прогревшуюся карету, я с облегчением выдохнул. Здесь хотя бы не дуло. Сани тут же понеслись по набережной, полозья скрипели, лошади фыркали паром. Я сидел, закутавшись в шинель, и смотрел, как мимо проплывают темные фасады доходных домов с желтыми квадратами окон.

Сначала мы добрались до дома Виталия Степановича, но там его не оказалось. Лишь жена Костовича с сожалением отметила, что он еще не вернулся из мастерской, где пропадает последние дни. Узнав адрес, я тут же приказал Тихону править туда.

До мастерской Костовича добрались, когда фонарщики уже зажигали огни. Свет ложился на снег длинными дрожащими дорожками. Я велел Тихону подождать у входа, а сам толкнул тяжелую дверь.

Внутри пахло прогорклым маслом, металлической стружкой и горячим углем из печи. Где-то в глубине мерно постукивал станок. Костович встретил меня в замасленном переднике,

с тряпкой в руках и чертежным карандашом, заложенным за ухо. Увидев меня, он скупо улыбнулся.

— Роман Сергеевич! У вас прямо нюх. Только о вас вспоминал! Проходите, покажу, что уже собрано.

Он провел меня в дальний угол, где на верстаке, поднятый на деревянные козлы, стоял остов нового двигателя. Часть деталей уже заняла свои места, другие лежали рядом, аккуратно разложенные и подписанные. Костович водил ладонью над узлами, объяснял, что уже готово, а что еще требует подгонки.

— Первый образец мы собрали через неделю. И он чуть у нас прямо тут не взорвался, — делился инженер. — Не учел я, как себя воспламенение поведет в полностью замкнутом пространстве. Пришлось отливать более толстые стенки, уж очень не хотелось терять ту мощь, что получается. Про поджиг мы с вами обсуждали — делать его от электрической искры. Но тут тоже проблема образовалась: как синхронизировать работу обоих клапанов, чтобы каждый раз заряд для поджига подавать не приходилось. И решили вообще от такого варианта отказаться.

— Что же сделали вместо него? — тут же заинтересовался я.

— Горячую головку. Воткнули в место, куда топливо попадает, штырек. Вот он нагревается от постоянно проходящего тока и, попадая на этот раскаленный штырь, топливо загорается. Но трясет двигатель от каждого такого маленького «взрыва» нещадно. Думаем теперь, как снизить вибрации, а то развалится вся конструкция.

— И долго вам еще работать? — тут же насторожился я. — Что по срокам?

Костович развел руками.

— Если ничего не сорвется, к концу месяца должны довести до приемлемой надежности. Так-то уже конструкцию можно отправлять на регистрацию, она рабочая. А вот дальше — как пойдет.

— Хорошо, — кивнул я облегченно. — Я на вас рассчитываю.

Договорились, что на следующей неделе я загляну еще раз, уже со стряпчим, чтобы подготовить бумаги для оформления привилегии. Костович проводил меня до двери.

— Вы уж про жену не забывайте, — сказал я ему напоследок. — А то она хмурится, что вы поздно возвращаетесь.

— Да я уж скоро, только прибраться здесь нужно, — махнул он рукой вглубь мастерской.

На этом мы с инженером и расстались.

К Шпаковскому ехал снова через весь город. Уже совсем стемнело. Снег повалил гуще, крупными хлопьями, и Тихон то и дело покрикивал на лошадей, направляя их ход. Я сидел, уткнув подбородок в воротник, и думал о том, как передать человеческий голос по медной проволоке. Идея казалась простой, пока оставалась на бумаге, но в железе могла обернуться сотней неожиданных препятствий.

Владислав Богданович нашелся в своей тесной квартирке, заставленной весьма необычными приборами. Хоть его не пришлось искать по всему городу. Открыла мне служанка и сообщила, что господин Шпаковский весьма занят. Но узнав, что я являюсь нанимателем инженера, проводила меня до его комнаты.

Сам инженер как раз склонился над столом, где были растянуты мотки проволоки и стояли две жестяные коробочки с мембранами. Увидев меня, инженер снял пенсне, протер его и снова водрузил на нос.

— А, Роман Сергеевич, — сказал он. — Здравствуйте. Вы наверное хотите узнать, как идут мои изыскания?

— Безусловно, — кивнул я, присаживаясь осторожно на единственный свободный табурет.

— Я провел пока лишь небольшую серию опытов, но мне найдется, что вам доложить.

Поерзав на жестком табурете, я приготовился слушать.

Глава 6

3 — 4 января 1860 года

Петербург. Квартира Шпаковского

Я поерзал на жестком табурете, устраиваясь поудобнее, и приготовился слушать. Шпаковский не стал тратить время на предисловия. Он подтянул к себе одну из жестяных коробочек, раскрыл ее и показал мне нутро.

— Вот, глядите, Роман Сергеевич, — начал он, и голос его сделался тем особым, чуть глуховатым тоном, каким человек говорит о деле, захватившем его целиком. — Я испробовал ваш замысел с угольным порошком. Помните, вы говорили, что звук можно поймать, если заставить его давить на пластину, а уж та пусть передает дрожь дальше?

Он ткнул пальцем внутрь коробочки. Там, за тонкой металлической мембраной, чернел плотный слой угольной крошки.

— Я насыпал порошок между пластиной и задней стенкой. Когда говоришь в коробку, пластина от голоса колеблется и давит на уголь. А уголь, сдавливаясь, меняет свое сопротивление — и оттого рождается то самое «электромагнитное поле», о котором вы толковали. Понимаете? Не сам звук бежит по проводу, а этот электрический посыл, который звук из себя выдавливает.

Он посмотрел на меня поверх пенсне, проверяя, поспеваю ли я за его мыслью.

Я кивнул. Все это было мне знакомо по нашим прежним разговорам, но теперь впервые обретало плоть из жести, угля и медной жилы.

— Дальше сигнал уходит по проводу, — продолжал Шпаковский, ведя ладонью вдоль натянутой проволоки. — И приходит на другой конец. Там я поставил маленький молоточек. Электрический посыл колеблет его, молоточек бьет по второй пластине, та дрожит — и рождает звук. Голос, стало быть, разбирается на одном конце и собирается на другом. Как письмо: сложил, отправил, распечатал.

Он замолчал и аккуратно закрыл коробочку.

— Это работает, Роман Сергеевич. Я сам не верил, что выйдет, а оно вышло. Но вышло скромно.

Я подался вперед.

— Что же именно подтвердилось?

— Почти все, о чем вы говорили, — ответил он, и в голосе его прозвучало уважение пополам с досадой. — Звук по проводу передается. Угольный порошок на это способен. Молоточек на приеме отзывается. Сама цепь верна. Будь ваши описания точнее, мы бы ушли дальше.

Он снял пенсне, протер его уголком рукава и снова водрузил на нос.

— Но вы, уж простите за прямоту, говорили все очень расплывчато. Я не в упрек — вы не инженер. Только на одних общих словах далеко не уедешь. Приходилось самому до всего доходить, тыкаться, как слепому.

Я не стал обижаться. Я ведь и правда ничего не смыслил в телефонной связи. Только те куцые знания, что вспомнил из прошлой жизни. Уже хорошо, что они вовсе у меня имелись.

— И каковы же результаты?

Шпаковский развел руками.

— Голос я передал. Но лишь на два метра. И то еле слышно, точно из-под подушки, да еще с такими искажениями, что половину слов не разобрать. Мембрана на приеме дрожит не так, как ей велено, а по своей прихоти. Уголь то сжимается охотно, то словно упирается. Молоточек бьет то сильнее, то слабее. Оттого и каша.

Он помолчал, потом добавил тише, будто разговаривая сам с собой:

— Хотя для всего научного мира это прорыв. Любой, кто увидит эти две коробочки в деле, ахнет. Но нам с вами нужно не «ахнуть», а чтобы говорило четко и далеко.

Он поднялся, прошел к окну, вернулся. Видно было, что мысли его не стоят на месте.

— Теперь задач я вижу три. Первая — усилить звук на принимающей стороне. Сейчас он слишком тих, на расстоянии в несколько шагов его заглушит любой скрип половицы. Вторая — убрать искажения, заставить мембрану повторять колебания верно, а не как ей вздумается. И третья — передать сигнал на большее расстояние. Два метра — это не разговор, это забава.

Он посмотрел на меня внимательно.

— И вот тут я уперся в то, чего на бумаге не увидишь. В материалы.

Шпаковский кивнул на стол, где рядом с коробочками лежали нарезанные кусочки металла, мотки разной проволоки, баночки с порошками — все мелкое, подписанное чернильным карандашом.

— Медь меди рознь. Одна жила чистая, звонкая, звук по ней бежит охотно. Другая с примесями — и сигнал в ней глохнет. То же с углем: крупный, мелкий, плотный, рыхлый — каждый ведет себя по-своему. Мембраны пробовал жестяные, латунные, стальные — каждая поет на свой лад, и ни одна пока не поет верно.

Он взял со стола один из кусочков, повертел в пальцах.

— Пока я просто перебираю материал за материалом и записываю, как себя ведет каждый. Набираю статистику. Без нее — как без глаз. Можно до седых волос тыкаться, а можно наткнуться на верное сочетание уже завтра. Но статистика денег требует.

Он положил кусочек на место и посмотрел на меня прямо.

— Материалы стоят недешево, Роман Сергеевич, а пробовать приходится много. Чем больше образцов я возьму, тем скорее найдем то, что нужно. Мне нужны деньги на закупку.

Он не просил, а говорил как человек, привыкший считать каждый рубль и не бросать пустых обещаний. Я понимал его правоту. Скупиться тут было нельзя — иначе вся затея так и останется двумя жестянками на столе.

— Сколько надобно? — спросил я.

Шпаковский назвал сумму. Небольшую в сравнении с тем, что сулила эта работа, но для моего нынешнего кошелька ощутимую. Я прикинул в уме: свободных денег у меня сейчас нет. Почти все ушло на переезд Анны, на платья для моих дам, да на то, чтобы здесь, в Петербурге, не выглядеть беднее, чем следовало.

— Я найду деньги, — сказал я. — Дайте мне несколько дней.

Инженер кивнул без тени сомнения, будто иного ответа и не ждал.

— Хорошо. А я пока продолжу с теми материалами, что уже есть. Статистика лишней не бывает.

Он поднялся, снял с полки тетрадь в потертом переплете и показал мне исписанные страницы — столбцы цифр, короткие пометки, зарисовки мембран. Видно было, что человек не отлынивает, и каждый опыт у него записан, и все их можно сравнить и найти те «общие знаменатели», которые помогут прийти к решению.

Мы поговорили еще немного: о том, не посадить ли провод на более толстую жилу, чтобы меньше глох сигнал или попробовать как-то изолировать его от внешней среды, и не попробовать ли уголь мельче помола. Потом я поднялся и пожал ему руку.

— Загляну через несколько дней. С деньгами.

— Буду ждать, — ответил Шпаковский и уже снова склонился над своими мотками, забыв обо мне.

Я вышел в темный подъезд, а затем спустился на улицу. Постоял на ступенях крыльца, пока глаза привыкали к морозной мгле. За дверью валил снег. Тихон дремал на козлах, укутав нос в воротник тулупа. Я сел в карету и велел править домой и всю дорогу глядел, как за пеленой снега гаснут редкие фонари.

Две коробочки, горсть угольной крошки, кусок проволоки — и голос, пролетевший два метра. Может, и немного. Но из таких вот «немного» и складываются вещи, которые потом меняют жизнь всего мира.

Утром часов в десять раздался стук в дверь. Я уже успел позавтракать и сделать свою зарядку, и как раз думал, как распланировать свой день. Поэтому этому нежданному стуку я в какой-то мере обрадовался. Было интересно, кто решил почтить нас своим визитом.

За дверью оказался Самарин. Он стоял, заложив руки за спину, и смотрел на свои заметенные снегом сапоги. Увидев распахнувшуюся дверь, он поднял глаза и коротко кивнул.

— Роман Сергеевич, простите за столь ранний визит. Но дело важное, и я очень рассчитываю на ваше понимание.

Я впустил его в квартиру и указал на кресло, но он остался стоять. Видно, и правда пришел не для долгих разговоров.

— Я говорил с Ее Императорским Высочеством, — начал он ровно. — И, кажется, сумел убедить ее сменить гнев на милость.

Я выдохнул, сам не заметив, как задержал дыхание.

— Но с одним условием, — продолжил Самарин, подняв палец. — Вы должны ехать в Михайловский дворец и принести извинения за свое поведение.

Он выдержал паузу, глядя на меня испытующе.

— Вам повезло, Роман Сергеевич. Дерзили вы ей без посторонних глаз. Потому и извинений ваших будет достаточно. Начни вы дерзить при ком-то чужом — так легко уже не отделались бы. Знайте это и впредь.

Я молчал, переваривая услышанное. А ведь он прав. Сколько бы я ни кичился собственными суждениями, у любого общества есть свои традиции и правила общения. И я их нарушил. Не потому, что был прав, а потому, что позволил себе забыть, где нахожусь и с кем говорю. Гордость — плохой советчик, когда речь идет о людях, от которых зависит не только моя судьба.

— Я поеду, — кивнул я. — И извинюсь.

Самарин впервые за все утро позволил себе слабую улыбку.

— Вот и славно. Только не тяните.

Он простился и ушел. Я же велел Тихону готовить карету и принялся одеваться. Если я правильно понял Самарина, Елена Павловна уже встала и готова меня принять. Настя, услышав возню, вышла из своей комнаты, но расспрашивать не стала — только посмотрела на меня тревожно и поправила воротник моего сюртука.

— Все хорошо. Появился шанс исправить отношения с Великой княгиней. Я скоро, — сказал я ей и вышел.

До Михайловского дворца доехали быстро, снег за ночь улегся, и лошади шли ходко. Всю дорогу я перебирал в уме слова, которые скажу княгине. Выходило то слишком сухо, то чересчур угодливо. Так ничего и не придумав, я положился на то, что верные слова придут сами, когда понадобятся.

Был мандраж, что меня заставят прождать несколько часов к ряду, но на удивление мне повезло. Меня провели знакомыми коридорами к дверям в кабинет Елены Павловны. Створки отворились, и я вошел.

И сразу понял, что разговор пойдет не так, как я рассчитывал.

В комнате, кроме великой княгини, сидел цесаревич Николай. Он расположился в кресле у камина, по-мальчишески закинув ногу на ногу, и при виде меня лицо его просияло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.